

К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые читатели! У вас в руках второе издание моей книги «Неужели это я?! Господи...» Впервые она увидела свет одиннадцать лет тому назад и благодаря издательству «Эксмо» имела дополнительные тиражи, что, не скрою, весьма лестно мне как автору.

Почему я писал ее? Мне хотелось посмотреть со стороны на себя, на время, в котором я жил и менялся. Посмотреть непредвзято, без розовых очков. Дать трезвую, честную оценку самому себе. И главное, вспомнить людей, встречи с которыми повлияли на меня, на выбор дороги, по которой, спотыкаясь, но шел.

Многое изменилось. В какую сторону — судить вам. Может быть, книга моя подскажет ответ. Сейчас кое-что прояснилось, стало очевиднее.

Некоторых, о ком писал, — нет уже на этом свете. Царствие им Небесное!

Не редактирую книгу заново — пусть все будет, как в первом издании.

Надеюсь, что вы, мои читатели, прочтя ее, задумаетесь и о своей жизни...

*Искренне ваш,
О.В. Басилашвили*

Вместо предисловия

Иду я по большой дороге,
А навстречу везут навоз.
О! Когда же эти дроги
Заменит электровоз...

Да, иду я по Загородному проспекту Санкт-Петербурга, иду к дому, иду из магазина. В одной руке пакет с картошкой, капустой, в другой — с хлебом, сыром.

Бормочу автоматически, бормочу вслух эти строки поэта двадцатых годов, они сами забормотались, видимо, под влиянием окружающей безрадостной картины...

Серая, в пятнах, простыня неба, грязный асфальт, обледенелые плитки тротуара, ледяной черный ветер порывами со всех сторон...

А вот витрина булочной. В ней забавная кукла булочника — лежит, спит себе, и живот от дыхания вверх-вниз, вверх-вниз... А это кто такой там отражается в стекле? С двумя пакетами, согбенный и безрадостный?

Ба! Да это ты, Олевый! (Так Александр Белинский, любимый мой режиссер, ласково именует меня, ну а поскольку у него нелады с произношением некоторых букв, то и получается не «Олежек», а «Олевый».)

Да, это я. Это я, Олевый! Это я, Фифенька (то есть «Сашенька» — это я отвечаю воображаемому Сашеньке Белинскому).

Это я — вон там, в витрине, сутулый старик с пакетами, мучимый артритом, колитом, тендовагинитом, мозолями и ненужными мыслями. Давно за семьдесят¹ — это вам не бык на палочке! Всё! Ты уже не с ярмарки едешь, ты уже приехал, давно приехал, и яблони, с которых белый дым, давно вырублены, и пни сгнили.

¹ Книга была написана в 2011 году. — *Примеч. ред.*

Ну что, старик? А если нижнюю губу вперед, а верхнюю заглотишь — вот и полная картина: шамкающий безумец в витрине бормочет: «О! О! Когда вэ эти дроги, дгоги... ЭВЭКТВОВОЗ...»

Стоп! Ты уже вслух!

Стоп! Маразм! Выпрямись! Плечи назад! Живот втянуть! И — быстро, прямо, энергично... легко! И — по-о-шел! Па-а-шол!

Иду! Боже, а женщины-то, женщины! Ни одной старухи! Молодые, жаждущие! Без детей, с детьми, с внуками! Все молодые, идут быстро, обгоняя меня...

Позади шепот:

— Он! Он! Я узнала!

— Да не-ет...

— На спор! Он!

Узнали. Узнали, черт бы их побрал!

Ну да, я ведь вчера играл «Калифорнийскую сюиту»! А позавчера — «Копенгаген»! И ведь неплохо играл, черт возьми! А то, может быть, и по телевизору... Спину прямо держать! И — главное, главное — туман в глаза, внутреннюю углубленность, иллюстрирующую богатство души и — простоту, простоту — да, да, это тоже важно, несмотря ни на что, на популярность и уважение — я прост, прям, доступен...

Молодой, румяный, черноглазый, улыбается, забегая вперед, встал передо мной:

— Извините! Это — вы?!

Я — несколько усталый, но добрый взгляд:

— Да... это я... (и улыбка всепонимающая).

— Он! Я говорил! — И уже мне непосредственно: — Это ведь вы выступали в рекламе пива студенческого?

Да, вот это удар. Ниже пояса.

Был грех — снялся я в рекламе этого пива. Десять дублей. Тяжело опьянел. С тех пор не то что пить, но и видеть рекламу пива по ящику — подступает тошнота... Да и давно это было — в конце девяностых!

«Калифорнийская», «Копенгаген»! Ты еще «Дядю Ваню» и Хлестакова вспомни! Эх ты, старый тщеславный маразматик! «Копенгаген» тебе!

И опять иду сквозь питерскую грязь и мглу с тяжелыми пакетами, шаркая ножками, а меня обгоняют все — молодые, шестидесятилетние...

На память пришло, как собрались мы в Третьяковку: я с дочками, Олей и Ксюшей, и Мишей, Ксюшиным мужем. Идем не спеша по моим любимым залам. Но чуть остановимся у какой-нибудь картины, чуть я начинаю дочкам объяснять, в чем прелесть ее, — тут же раздается: «Олег Валерьяныч! Дайте автограф!» И так раз за разом. Зверею. Не дают насладиться: мы ведь редко видимся, а тут — все вместе, да еще в моей родной Третьяковке! — и: «Дайте автограф, у вас ручка есть?» На бумажках, билетах, а то и на деньгах...

И вот стоим мы перед картиной Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Но я уж картины не вижу. Чувствую позади дыхание жаждущих автографа. Гнев закипает. Оборачиваюсь: точно! Человек десять молодых людей с блокнотами и ручками наготове.

Я говорю:

— Ну вот что. Уберите ваши блокноты и ручки! Оставьте меня в покое! Я же человек, в конце концов!

А они в ответ:

— Да вы что, мужчина! Совсем уже?.. Мы за экскурсоводом записываем!

Позору было! С тех пор, делая усталые глаза, даю автографы. Всем. На деньгах, паспортах, обрывках туалетной бумаги...

Ясно, что я человек довольно гнусный.

Ну, чтобы помягче, — тяжелый. Что называется «синия жылы».

Ну, к примеру — жду, когда кто-нибудь допустит оплошность. Забудет, скажем, выключить свет в кухне. Или в туалете. И у меня наступает праздник души. Нет, не то чтоб мне становилось от этого легче, радостнее, нет, просто нарыв тяжести раздувается и лопается, и раздражение низвергается на близких, допустивших «faux pas»...

Мне иногда даже кажется, что они меня побаиваются. Но этот страх ничуть не мешает им оставлять после себя грязную

посуду, забывать ключи от дома, приглашать гостей целую кучу и кормить их с утра до ночи, превращая дом в некое подобие постоянного двора с мусором по углам, хлебными корками на столе, рюмками со следами губной помады.

Правда, если взглянуть на себя со стороны, я тоже оставляю желать лучшего. Я не говорю о мелочах типа: «Где мои очки, черт бы вас всех побрал?», а очки лежат в туалете, оставленные там мной после чтения «Тропика Козерога» Генри Миллера. Или: «Где, где ключи?» — а ключи я оставил на ночь торчать снаружи в дверях.

Да, это признаки надвигающейся старости, а может быть, и вернее всего — наступающего маразма. Вот, например, не мог вспомнить, чем автомобиль приподнимают, меняя колесо: Гиппократ?! Дармштадт?! Де... ди... Пришлось остановить грузовик. «Тебе чего, дед, что случилось?» — спросил водитель грузовика. «Да ничего особенного, просто забыл, как эта штука называется». — «Домкрат, ёптмать. И всё?!»

Да, пока всё. А до маразма еще далеко. Ой как далеко. Это я лыщу себя надеждой.

И вот передо мной задача — написать *Memoires*. Это по-английски. Мемуары, то есть, по-нашему.

Вообще-то я твердо убежден, что сесть за мемуары надо, точно уловив момент — работать уже не можешь (не «не хочешь», это я давно, с детства не хочу), именно не можешь, но еще кое-что помнишь. То есть когда маразм еще не оккупировал полностью твою память. То есть попасть в этот тоненький зазор между бессилием и полным маразмом.

Кто угадал — тот выиграл. Молодец! Попал вовремя. В точку. В *Memoires* многих авторов налицо либо торопливость, свойственная деятельному работяге, либо глыбы красивой болезни Альцгеймера, заслоняющие от автора логику и суть его жизнедеятельности.

Теперь дальше. К несчастью, а может, к счастью, люблю приврать.

Например, почему-то до сих пор я убеждаю всех, что мой дед Ношреван Койхосрович в Грузии, в Горийском уезде, когда-то очень давно арестовал двух бандитов. Их клич-

ки — Камо и Коба. Коба — это Джугашвили, в дальнейшем, как многим известно, Сталин. Дед тогда служил в полиции. Арестовал он разбойников и доставил их в Тифлис. Там Кобу посадили в Метехи — замок, где была тюрьма, в камеру с политическими — так и сейчас часто делают: сажают политического и бандита в одну камеру, бандит издевается над политическим, унижает его, и несчастный политический сломлен, готов подписать любое признание, лишь бы вырваться.

А тут наоборот произошло.

«Что же ты это грабишь, генацвале, нехорошо это!» — сказал политический. «А, ненавижу всех этих богатеев, мать их пети!» — отвечал Коба.

«И правильно, правильно делаешь, что ненавидишь, и правильно, что грабишь, только грабить надо во имя революции, для народа, генацвале, для партии трудящихся. Вступай, да? В партию большевиков, будем вместе грабить для народа! Ступай-ка ты в партию, в люди, да?!»

И пошел Коба в люди.

И сделал неплохую карьеру. И получается, что это мой дед во всем этом виноват.

История со Сталиным — может быть, чья-то или моя выдумка, но она почему-то стала реальностью, что тут поделаешь.

Или футбол. Где-то конец сороковых — начало пятидесятых. Я в детской команде «Динамо». Тренировка. Я — вратарь. Мой бог — Алексей Хомич, вратарь московского «Динамо». Крепко сбитый, пружинистый, чуть сутулый, коротко стриженный, почти «под ноль». Прозванный в Англии во время послевоенного динамовского турне «тигром».

Рассказывали, что на приеме у клуба «Челси» королева будто бы пожелала услышать спич в исполнении этого футбольного гения. Он встал и произнес:

— Леди и гамильтоны!

Изумленная пауза. Занавес.

Итак, мы, юные динамовцы, заканчиваем тренировку. На поле выходят взрослые — Бесков, Карцев, Малявкин, Бобров...

Я прошу великого Боброва: «Дядя Сева, стукните мне, пожалуйста, с одиннадцати метров, только точно в девятку!»

Он, усмехнувшись, бьет. А у него удар был пушечный, неберущийся.

Ударил. Мяч со свистом пошел в верхний левый угол.

Но я, дотянувшись до него в броске, запутался в сетке ворот, куда меня внес мяч, пущенный гением футбола.

Вот это всё — вранье от начала до конца.

Да, в футбол я играл. Во дворе. И вратарем стоял, сутулясь, подражая Хомичу (сутулость моя оттуда). Но не было ни детской команды «Динамо», ни тренировки с Бобровым... Просто я всегда обожал «Динамо», был его страстным болельщиком. О бело-голубые, мои боги!

Что я знал тогда об их эмгэбэшной принадлежности, об интригах Берии против «Спартак»... Просто я был очарован бело-голубыми, их филигранной игрой, техникой, яркими индивидуальностями...

Кто болеет за «Спартак» —

Тот мудила и дурак —

это я начертил мелом на черной лестнице нашего дома на Покровке в пику Витьке Альбацу, соседу, болельщику «Спартак».

Бабушка увидела. Скандал! Позор! Заставила все это стереть. Стыдоба, в общем... Вот это — правда. Это — было.

Все вышенаписанное должно было быть только предисловием к моим Мемоїres. Но затянулось. И ясно, что к старческой лени, маразму и желанию приврать добавился еще один порок — неудержимая болтливость.

Простите. В дальнейшем буду сдерживаться. Самоограничиваться. Всё!

Итак, начали.

«Я родился в...»

Помните, у Чехова один такой же пенсионер садится за стол с твердым намерением начать писать? Первая фраза, ее начало: «Я родился в...» — и тут же сразу раздается вопль кого-то из домашних — зовут — приходится все бросать и идти на зов...

Итак: «Я родился в...»

Прислушиваюсь. Ну! Зовите! Тишина...

Да, оказывается, это очень трудно — заставить себя сесть за стол и начать.

С чего?

Как?

Да и кому интересна эта моя жизнь?

Но — «недаром столько лет свидетелем Господь меня... (заставил? сделал? назначил?)». Да, что-то уж очень как-то самоуверенно это выходит: «Господь — меня» — ну да ладно: ведь я действительно был свидетелем очень многих событий. И — «когда-нибудь, кто-нибудь...».

Итак — свисток! Начали. То есть что это я?! Какой свисток? Звонок, конечно.

Итак — звонок! Начали! (Занавес пошел!)

Я родился в Москве 26 сентября 1934 года.

Моя мама, Ирина Сергеевна Ильинская, будучи воспитана своими отцом и матерью в спартанском духе, а к этому духу добавилось еще и пролетарско-коммунистическое мировоззрение, с которым мама вышла из школы-коммуны, где училась, пошла рожать меня в родильный дом на Покровке. В «Лепёхинку» — так называлось это учреждение. Пошла самостоятельно, одна. Мест для рожениц не было, и маму поместили на кровать для буйных — в клетку, под замком. Хотя никакого буйства мама не проявляла. Короче — вот в этой самой «Лепёхинке», в синем доме с колоннами (москвичи прозвали его «дом-комод»), принадлежавшем ранее князьям Трубецким, я и появился на свет.

Первые впечатления

Как ни странно — вижу, как на террасе общежития политехникума связи, где работал папа, в Пушкино, он тисками привинчивает к столу елочку: Новый год. Темно, за окнами снег, снег... И фраза «Разрешили елку» впечаталась в память... А это 1935 год — мне всего-то годик...

А вот более позднее воспоминание.

Просыпаюсь — и тут же крепко зажмуриваюсь. Посреди комнаты в лучах утреннего праздничного солнца стоит нечто прекрасное, сияющее никелем, брызжущее ярким светом, ослепляющее...

Сквозь крепко зажмуренные веки плывут яркие пятна, звездочки. Из открытого, видимо, окна доносится ликующий рокот толпы, б́ухают оркестры, мелодии перемешиваются, сливаются в стройную разноголосицу...

Праздник! Первое мая!

Открываю глаза...

Нет, это не сон!

Велосипед! Он стоит недалеко от кровати, это его никелированный руль, ободья колес, спицы слепят ярким солнцем. Синее небо сияет...

Потом мы с папой спускаемся вниз, к Москве-реке по Покровскому и Яузскому бульварам.

Я еду на своем велосипеде и звоню, звоню...

На набережной, у Воспитательного дома, много народу. Люди стоят на тротуаре, встречают войска, идущие с парада на Красной площади.

Я устроился на решетке ограды, посаженный папой. Что-то тяжелое грохочет по мостовой.

Где папа? Я в панике: исчез папа!

Да нет, вот он, вот!

И мы опять по бульварам, на велосипеде, со звонком поднимаемся к нашей Покровке.